

R E C E N Z J E

Новое прочтение или дорисовка?

Илья Лемешкин, *Портрет Франциска Скорины: к 550-летию со дня рождения книгоиздателя*, Travaux du Cercle linguistique de Prague. Nouvelle série, vol. 10, Vilnius–Prague 2020. 298 с.

Книга пражского литуаниста Ильи Лемешкина подытоживает его многолетнюю деятельность на ниве скориноведения. Издание состоит из девяти глав, семь из которых посвящены непосредственно портрету издателя Библии, восьмая – месту печати пражских изданий Скорины, а последняя представляет собой размышления автора о визуализации образа полочанина в современной Беларуси. По своей структуре публикация ближе к сборнику статей, объединённых одной темой, чем к монографии – читатель не встретит в ней ни традиционного обзора предыдущих работ по теме, ни эксплицитно представленной методологии исследования. Своих предшественников и методы своего исследования автор упоминает *ad hoc* в разных местах книги уже по ходу своего изложения. Роль введения играет первая глава, содержащая разбор источников и то, что можно назвать постановкой исследовательского вопроса. В ней автор выявляет и откидывает, бытующие у исследователей скориновских гравюр, «псевдоисточники», выделяет варианты портрета, а также задаётся вопросом о причине изменений, внесённых в портрет, помещённый в Книге Царств по сравнению с первоначальным вариантом в книге «Исуса Сираха». Автор отвергает версию о повреждении печатной доски и в следующих пяти главах излагает своё «жанрово-структурное» объяснение. Этому объяснению посвящены следующие пять глав книги.

Согласно автору, «в композиционно содержательном плане» портрет Скорины 1517 года парафразирует гравюру Альбрехта Дюрера «Святой Иероним в кабинете» 1514 года. Это дало потом возможность использовать его в Книге Царств как изображение святого Иеронима. Для этого были удалены элементы светского портрета: «буквенночисленная комбинация» MZ, которую следует читать, как 47 – возраст печатника на момент портретирования, и муха, которая служила маркером «светскости» изображения. К прочтению MZ как 47, автор приходит в результате рассмотрения портрета в контексте чешской портретной живописи первой трети XVI в. Автор утверждает, что в эту эпоху в Чехии существовала обязательная формула у портрета, сообщающая о годе возникновения портрета, имени и возрасте портретируемого лица. Таким образом автор предлагает радикально новую датировку рождения Франциска Скорины – 1470 год, тем самым вступая на поле историографии, что заставляет внимательней присмотреться к его аргументам, благо в книге приведены все использованные визуальные источники.

При детальном рассмотрении предложенное автором объяснение имеет целый ряд слабых мест. Во-первых, неубедительным выглядит сама связь портрета с гравюрой Дюрера. Чтобы увидеть эту связь автор в пятой главе прилагает огромные усилия. Для этого ему приходится изображение 1514 года отзеркаливать, изменять пропорции, переставлять мебель, видоизменять атрибуты святого. Лев и собака, становятся щитоносцами, при этом собака превращается в льва, распятие превращается в геральдический знак, а кардинальская шляпа в берет (с. 149). В принципе, вооружившись методом автора

можно найти сходство портрета с многими другими работами эпохи Возрождения, научная ценность таких открытий правда будет под большим вопросом. Несостоятельность такой аргументации особенно видна в свете находки Ольги Шутовой, указавшей на изображение царя Соломона в венецианских календарных таблицах. Это изображение выявляет намного большее количество сходств с портретом в Скориновой Библии.¹ Сомнительной является и версия об использовании портрета как изображения святого в Книге Царств. Потому как, остаётся непонятным, почему отстранив элементы, которые по мнению автора указывают на светскость изображения, был оставлен самый явный указатель – подпись «Доктор Франциск Скорин». Для объяснения такого противоречия автору приходится конструировать и размножать разные читательские аудитории (с. 159). Так, знающая кириллицу православная публика ВКЛ и Польши должна была видеть на ксилографии Франциска Скорину, в то время как не владеющая славянским письмом западная – Св. Иеронима. Далее, для того чтобы объяснить, зачем не владеющим славянским алфавитом брать в руки полностью кирилличное издание, вводиться новый округ читателей: собиратели гравюр, которым портрет попадал в руки гипотетическим отдельным листом. Однако, в таком случае остается непонятной мотивация удаления сочетания MZ, ведь те, кто мог прочесть его как кириллическое числительное и так, благодаря подписи, воспринимали изображение как портрет Скорины, а тем, кто не мог, эта деталь никак не мешала бы увидеть Св. Иеронима.

Вопросы вызывает и проведённый автором анализ портрета в контексте чешской портретной живописи, которому отведена третья глава книги. Автор рассматривает в общей сложности 8 портретов, созданных в период 1506–1529 гг., и приходит к выводу о существовании определенного канона, который подразумевал наличие формулы: год создания портрета, имя и возраст после слов AETATIS SVAE. Кроме того, автор указывает на позднее появление монограммы художника на портрете: впервые она встречается лишь в 1529 году. Следует отметить, однако, что в этом ряду портрету Скорины предшествует лишь портрет Альбрехта из Коловрат 1506 года, на оригинале которого формулы с именем, годом и возрастом не выявлено. «Облигаторную формулу» содержит лишь копия начала XVII в. Следующий же по времени среди рассматриваемых портретов был написан лишь в 1522 году. Поэтому нет оснований уверенно и безапелляционно говорить о существовании такого «канона» в 1517 году, когда был создан печатный портрет Скорины. Портрет издателя Библии с остальными портретами объединяет лишь жанр. По виду и композиции портрет выбивается из ряда рассматриваемых автором. Это отклонение приходится объяснять рассмотренным выше влиянием Дюрера.

Кроме того, сами результаты своего анализа автор применяет выборочно. Так, появление монограммы лишь в 1529 году позволяет ему утверждать, что сочетание MZ на портрете Скорины никак не может быть монограммой художника или гравёра. С другой стороны факт, что первый оригинал портрета с «облигаторной» формулой фактически уверенно датируется лишь 1522 годом, не мешает автору считать, что информация о возрасте Скорины просто обязана была быть на портрете 1517 года. Относительно самого сочетания MZ, автор признаёт влияние Дюрера на форму, и не оспаривает того, что это сочетание выглядит как монограмма немецкого художника, но никак не на содержание.

¹ О. Шутова, *Библия Франциска Скорины и Италия: источники, влияния, вдохновения*, в: *Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов. Материалы Международной научной конференции. Пинск, 29–30 мая 2019 г., Минск–Москва, 2019*, с. 598–606.

То есть и к влиянию Дюрера на портрет автор подходит селективно, выбирая лишь то, что подходит для его аргументации, предлагая свое объяснение противоречию: гравёр не понял, что это сочетание кириллическое числительное и оформил его как монограмму (с. 158).

Автор предлагает свое объяснение и тому, что МЗ не имеет титла, под которым принято было записывать цифры и под которым на портрете записан год: 47, записано вязью, которой записывались денежные суммы, а разный способ написания чисел на портрете Скорины соответствует одновременному употреблению римских и арабских цифр на портретах ренессанса. Так, по мнению автора, делалось с целью визуально разделить разную информацию (с. 157). Весомости подобным утверждениям безусловно придали бы примеры вязи для записи цифр в XV–XVI вв., не лишними бы были и ссылки на исследование о функциях арабских и римских цифр в ренессансной живописи.

Ключевой для аргументации автора является фигура «информированного читателя». Автор прибегает к ней, чтобы объяснить, зачем в кириллическом издании, аудиторией которого являлось руское население Великого Княжества Литовского и Польши помещать информацию, прочитать которую мог лишь человек знакомый с «портретным каноном Северного Возрождения». Действительно, весьма вероятно, что портрет не был частью всех экземпляров книги (с. 58) и круг тех, для кого предназначался портрет, был уже читательской аудиторией. Но всё равно этот «информированный читатель» должен был соответствовать уж очень большому количеству требований. Во-первых, он должен был уметь читать кириллический текст, во-вторых, за свою жизнь просмотреть такое количество портретов с указанием возраста портретируемого лица, что уже не представлять себе портретов без такой информации (что являлось бы достаточно сложной задачей, потому как в той же Чехии известен лишь один портрет старше 1517 года и наличие на нём такой информации лишь гипотетично). В-третьих, знакомясь с живописью и графикой, этот читатель, должен был миновать работы Дюрера, чтобы не воспринять МЗ, как монограмму. Далее, такой читатель должен был каким-то образом без пояснения, понять, что МЗ — это всё же числительное и связать его с возрастом, при том, что даже авторы приведенных в книге более двух десятков европейских портретов не рассчитывали на такую смекалку зрителя, и не рисковали оставить на картине лишь число, без пояснения, что речь идёт о возрасте! Возникает вопрос, какова вероятность, что такой читатель вообще существовал до 2010-х годов?

Вопросы к логике появляются и при знакомстве с главой 6, посвящённой мухе на портрете Скорины. Там автор убедительно объясняет её природу, показывая, что издание Скорины стоят в ряду уникальных памятников европейского искусства эпохи Возрождения. Однако попытку определить функцию этого насекомого нельзя считать успешной. Так, приведя несколько примеров изображений сакрального характера, автор пишет (с. 171) «Все вышеупомянутые и сопровождаемые иллюстрациями памятники живописи репрезентируют сакральное искусство XV–XVI вв., однако «муха нарисованная» не брезгала и произведениями светского характера. Для нас в связи с ксилографией 1517 г. особенно важно, то, что *musca depicta* начиная с XV в. очень часто усаживалась и на портреты частных лиц». Далее, рассматривая пример портрета частного лица, автор пишет «Можно предположить, что и в данном случае, как и позднее в религиозном искусстве, она выполняла десакрализирующую функцию. При её помощи художник сообщал: это всего лишь рукотворная художественная условность, созданное мною произведение искусства, т. е. изображение конкретного и обыкновенного человека (монаха), а не священный фетиш, созданный с целью поклонения святому». В конце

главы читателя ожидает уже уверенное утверждение: «В глазах просвещённого рецепиента XVI в. такая муха выполняла и иное важное предназначение – она секуляризировала изображение». Таким образом предположение через 20 страниц превращается, без каких-либо дополнительных операций или ссылок на другие исследования, в уверенное утверждение. Читателю остается только догадываться на каком основании, потому что из факта присутствия мухи как на сакральных изображениях, так и на светских никак не следует, что муха является знаком светского портрета!

Таким образом «жанровое структурно функциональное объяснение» исчезновения МЗ и мухи на портрете в Книге Царств нельзя признать убедительным. Аргументы автора опираются во многом лишь на его собственные предположения, внутренне противоречивы, а местами просто игнорируют логику. Соответственно и предложенную автором датировку рождения Франциска Скорины нельзя считать научно доказанной, и она не может служить основанием для пересмотра принятой до сих пор даты *ante quiet* 1490.

Глава 7 посвящена возможному автору портрета Скорины. В ней автор предлагает отказаться от введённого Петром Войтом обозначения «мастер IP», использовать термин «портретист Франциска Скорины». В главе 8 автор снимает все вопросы относительно места печати пражских изданий Скорины. В этом вопросе выводы автора, представленные широкой публике в 2017 году, уже стали общепринятыми и являются неоспоримым вкладом Ильи Лемешкина в Скориноведение.

Последняя глава носит скорее публицистический, чем научный характер. В ней автор остро и эмоционально критикует отношение белорусских властей к образу и наследию Скорины. Из резких слов видно, что автор не может оставаться равнодушным к событиям в Беларуси и его упреками во многом нельзя не согласиться. Однако, если затрагивать тему визуализации, следует обратить внимание на один момент, касающийся графического оформления книг, которое в целом заслуживает наивысших оценок. Вопрос возникает к изображению на фронтисписе, которое неискушенный читатель может легко принять за фрагмент портрета Франциска Скорины. Но эта работа графика Йиржи Альтмана. Крупный план печатника дополнен мухой и фразой «ANNO 1517 AETATIS SVAE XLVII». Нельзя не оценить оригинальность и экстравагантность подхода, когда тезис научного труда иллюстрируется художественными средствами. Однако действительно ли коллажу с «дополненным» основным источником место в издании, претендующим на научность?

К сожалению, и в работе с источниками автор не всегда придерживается декларируемых им же стандартов. В первой главе автор пишет: «Если исследователь берётся писать о портрете, то он должен иметь чёткое представление обо всех его оттисках и вариантах. Желательно *de visu* познакомиться хотя бы с одним оттиском каждого варианта. Если такой возможности нет, лучше воздержаться от генерализирующих выводов» (с. 59). С этими словами нельзя не согласиться, но вот на странице 93 в качестве примера криптопортрета в скориновских иллюстрациях приводится изображение пожилого бородатого мужчины с лысиной. Автор идентифицирует его как канцлера чешского королевства Ладислава из Штернберка (Ladislav ze Šternberka). Следует отметить, что эту идентификацию автор провёл ещё в 2017 году, но в книге впервые приводит источник: фотографию (без указания авторства) фрагмента надгробия Ладислава из Штернберка в костёле Св. Иакова Старшего в городе Непомук. Можно уверенно сказать, что автор не работал с источником *de visu*, иначе, не смог бы не заметить эпитафию над барельефом, сообщающую о смерти в 1563 году Ладислава из Штернберка, пан на Зелена-Горе

и Планице. Канцлер чешского королевства Ладислав из Штернберка, пан на Бехине умер 1521 году и похоронен в основанном им монастыре францисканцев-обсервантов в Бехине. На своём надгробии в Бехине и донаторском портрете на изображении стигматизации Св. Франциска в кодексе начала XVI в.² он изображен гладковыбритым и без лысины. Остаётся лишь догадываться, почему автор так и не удосужился проверить свое предположение, почему ему остались неизвестны вышеназванные изображения, почему он проигнорировал существующую литературу и почему его в конце концов не насторожил воротник-раф на барельефе в Непомукe – элемент костюма из более позднего периода, чем 1520-е.

Есть в книге и менее серьёзные фактические ошибки, перенятые автором у других исследователей. Так, на с. 77 говорится об основании в Полоцке бернардинцами храма «Девы Марии Небесных Врат». Такой храм действительно существовал в Полоцке но лишь с 1769 года в Задвинье, куда он был перенесён из большого посада, где с 1696 г. бернардинцы имели монастырь с костёлом Св. Анны.³ О том, в честь кого был построен храм конвента бернардинцев, основанного 1498 году и прекратившего своё существование в 1563 г, точно не известно. Выданный Скоринову сыну Симеону Фердинандом Габсбургским документ (с. 64) (который присутствует в книге в виде факсимиле, в оригинальной транслитерации и полном переводе) повторяет ошибочную датировку первого издателя Рудольфа Хмеля 29 января 1552 г. Четверг после праздника святых Фабиана и Себастьяна в 1552 году приходился на 21 января.

Книга Ильи Лемешкина вызывает противоречивые чувства. Неумолимость и своеобразная «исследовательская наглость», с которой он ставит новые вопросы и подвергает сомнению устоявшиеся представления, и прежде всего стремление рассматривать Скорину и его наследие в европейском и чешском культурно-историческом контексте, являются сильными сторонами автора. Такой подход, когда он опирается на достаточное количество источников и работ других исследователей приносит ценные результаты. Проблемы наступают, когда автор, оказавшись без такой опоры, начинает аргументировать собственными предположениями, сооружая внушительные конструкции из догадок, и сам при этом не замечает противоречий, а иногда и просто отсутствия логики. Нельзя не оценить и слова поддержки, адресованные белорусскому академическому сообществу, которые, безусловно, очень важны. Но выражением поддержки и проявлением уважения, бы было упоминание работ белорусских исследователей по теме, например, книги Алексея Шаланды. Автор может быть с ними не согласен, но не следует скрывать их за пренебрежительным «некоторые» без ссылок на конкретные имена и публикации. При всех отмеченных недостатках, книга Ильи Лемешкина стала безусловно событием в Скориниане, и остается только надеется, что она станет импульсом для новых исследований основанных прежде всего на кропотливом поиске источников и трезвом их анализе. Несмотря на то, что такой подход не всегда приносит быстрых и сенсационных результатов, потенциал его до сих пор не исчерпан.

Pavel Kotau
(Ołomuniec)

² SOA Třeboň, Rodinný Archiv Černínů, rks č. 2

³ В. Воронин, *Храмовое и монастырское строительство в XIII–XVI вв.*, w: О Левко. (ред.), *Древнейшие города Беларуси: Полоцк*, Минск 2012, с. 441.

Kamil Frejlich, *Pod przysądem horodnictwa wileńskiego. O jurydyce i jej mieszkańcach w XVII wieku*, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, ss. 314, il. 2, ISBN 978-83-231-4649-0

Przedmiotem recenzowanej książki jest horodnictwo i jego wileńska jurydyka w XVII w. Sam podtytuł pracy – „O jurydyce i jej mieszkańcach” – już sugeruje kierunek i metody, po które w trakcie badań sięgnął Autor. Jak sam zaznacza: „Zasadniczo jednak książka jest opracowaniem z zakresu historii społecznej. Perspektywa ta pozwala bowiem na uchwycenie takich zagadnień, jak struktura społeczna, relacje międzygrupowe czy normy społeczne” (s. 43), co w pełni koreluje z umiejscowieniem tematyki w obszarze mikrohistorii.

Omawiana monografia jest uzupełnioną wersją pracy doktorskiej przygotowanej pod kierownictwem Andrzeja Karpińskiego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Sam Autor swoje zainteresowania badawcze (jak wynika z krótkiej notki na skrzydełkach książki) określa jako skoncentrowane na problematyce społecznej i kulturowej Wielkiego Księstwa Litewskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Innym ich przykładem jest wydana w 2017 r. praca o testamentach w księgach miejskich wileńskich¹.

Prezentowana monografia oprócz wstępu i zakończenia składa się z czterech rozdziałów, które uzupełnia osiem aneksów oraz indeks osobowy. Przyjęte ramy chronologiczne są w pełni zasadne i wynikają głównie z dostępności źródeł. Nie wyklucza to oczywiście szerszego spojrzenia na badaną tematykę i przedstawienia kilku aspektów z nią związanych, zauważalnych zarówno w wiekach XV–XVI, jak i XVIII.

Na początku warto pochylić się nad samym wstępem, w którym Autor przede wszystkim dokładnie omówił historiografię badań nad Wilnem i wynikających z tego szeregu powiązań dotyczących zarządzaniem terenami i obiektami wewnątrz miasta. Co więcej, „różnorodność materiału źródłowego zawierającego bogactwo informacji pozwala na uchwycenie wielu komponentów życia mieszkańców jurydyki oraz funkcjonowania urzędu” (s. 39). Autor zapowiada w podrozdziale o metodzie, że przyjęty przez niego sposób pracy, opierający się na wykorzystaniu elementów biografii (w tym zwielokrotnionej) oraz analiza różnych aspektów życia codziennego wraz z badaniem więzi społecznych (na poziomie grupy i jednostki) ukaże funkcjonowanie jurydyki, jak i samego urzędu horodniczego (s. 46). Co ważne i nowe, w centrum zainteresowań postawił on specyficzną część miasta, odchodząc tym samym od klasycznego badania wileńskiej magdeburskiej. Realizacji tych założeń przyświecały trzy główne pytania: „jaką rolę odgrywał urząd horodniczy wileński? Czy charakteryzowała się podległa mu jurydyka? Kim byli zamieszkujący ją ludzie?” (s. 47). Tu skupię się nad tym, czy Autor uzyskał odpowiedzi na nurtujące go pytania.

W rozdziale pierwszym pt. „Horodnictwo” Autor skupił się na historii urzędu w Wilnie, przedstawiając także jego historię w Wielkim Księstwie Litewskim, którą należy traktować jako wprowadzenie zarysowujące główną problematykę. Poszczególne podrozdziały związane są z ukazaniem różnych aspektów funkcjonowania horodnictwa. Szczegółowo omówiono kwestię kompetencji horodniczego oraz powiązania tego urzędu z wileńskim derewnictwem. Szczególnie interesujący jest podrozdział dotyczący finansów urzędu. Autor skupił się tu nie tylko na przychodach i wydatkach horodnictwa, ale także na zobowiązaniach podatkowych mieszkańców jurydyki, ponieważ „należy je traktować jako części składowe jednego

¹ *Testamenty w księgach miejskich wileńskich w XVI i XVII wieku. Katalog*, oprac. K. Frejlich, Warszawa 2017.

budżetu, gdyż nie istniały odrębne skarby urzędu oraz jurydyki” (s. 75). Oprócz dochodu z kapszczyzny i działa Autor ukazuje także wpływy z młynów, derewnictwa, podymnego (np. w 1690 r.) oraz kar sądowych. Ważnym uzupełnieniem uzmysławiającym wysokość części otrzymywanego dochodu jest zestawienie (s. 80–81) przedstawiające przychód z nieruchomości na Szejerkiskach w latach 1671–1703. Głównymi zaś wydatkami były kwoty przeznaczane na naprawę wileńskiego zamku. Obszerłą część tego rozdziału stanowią biografie poszczególnych siedemnastowiecznych horodniczych wileńskich, w których Autor (w miarę źródłowych możliwości) przedstawił nie tylko ich działalność podczas sprawowanego urzędu, ale postarał się także odtworzyć ich życiorysy. Podrozdział ten został także uzupełniony dwoma zestawieniami: osób piastujących urząd horodniczego w XV i XVI (s. 85–86) oraz w XVII w. (s. 104–105). Badacz przeanalizował także długość obejmowania urzędu, przynależność religijną oraz pochodzenie.

Rozdział drugi – „Jurydyka” – składa się z siedmiu podrozdziałów. Pierwszy omawia 15 wileńskich jurydyk oraz konfrontuje się z dotychczasowymi ustaleniami. Część ta, wraz z podrozdziałem drugim, w którym Autor wyjaśnił kwestie terminologiczne (m.in. to, że terminy jurydyka grodzka bądź zamkowa nie są synonimami jurydyki horodnictwa), stanowi wprowadzenie do innych zagadnień, związanych bezpośrednio z tytułową jurydką. Niemniej istotne treści zawiera podrozdział dotyczący topografii jurydyki, gdyż opisanie granic znacznie ułatwiło czytelnikowi jej umiejscowienie zarówno w siedemnastowiecznym, jak i współczesnym Wilnie². W kolejnych podrozdziałach Autor przedstawił wygląd i lokalizację Domu Horodniczego, znajdującego się na terenie kompleksu zamkowego (jego współczesne zdjęcia znajdują się w aneksie, s. 250–151). W podrozdziale szóstym ukazano funkcjonowanie sądu, analizując w tym celu ok. 1500 wpisów z siedemnastowiecznych ksiąg badanej jurydyki. Kamil Frejlich nie tylko przedstawił przyczyny spraw, konkludując, że „w materiale horodnictwa nie ma prawie oskarżeń o ciężkie przestępstwa, wyjąwszy pojedyncze przypadki zgwałcenia, uśiłowania zgwałcenia i bigamii, zdarzają się też czasem dotkliwe pobicia, ale nic nie wiadomo o tym, by prowadziły one do śmierci lub trwałych uszkodzeń ciała” (s. 135), ale sporządził także diagram, w których dniach tygodnia najczęściej dokonywano czynności prawnych (s. 134). Podrozdział ten ma jednak charakter ogólny, a jego celem było raczej scharakteryzowanie sądownictwa, gdyż tematykę tę Autor pogłębił w rozdziale trzecim. Szczególnie interesujący jest podrozdział siódmy dotyczący personelu, czyli podhorodniczych, pisarzy, wójtów oraz sług, co nie było regułą w innych horodnictwach i wynikało z faktu, że horodniczemu wileńskiemu podlegała własna jurydyka. Ta specyficzna hierarchia pojawiła się w Wilnie od czasów Andrzeja Franciszka Kotowicza (piastującego urząd w latach 1657–1682), horodniczowie z różnych bowiem przyczyn potrzebowali pomocników.

Pamiętając o wcześniejszych zapowiedziach Autora, czyli o skupieniu się na przedstawieniu relacji międzyludzkich, zaciekawienie budzi rozdział trzeci – „Jurydycanie”. W pierwszym podrozdziale, zgodnie z jego nazwą („Ogólna charakterystyka”), przedstawiono stosunki własnościowe nieruchomości w obrębie jurydyki w XVII w. Wymieniono także wykonywane przez mieszkańców profesje, a także podjęto próbę określenia ich pochodzenia na podstawie nazwisk. Niemniej interesująca jest analiza języka, w którym sporządzono wpisy w księgach. Choć wśród dominującego języka polskiego pojawiały się wpisy po łacinie czy po rusku, to istotne były sporadycznie występujące litewskie słowa poświadczające obecność litewskiego żywiołu wśród

² Niestety na dołączonym czarno-białym planie Wilna (s. 127) z przyczyn typograficznych niewidoczny jest obszar jurydyki horodnictwa, który według opisu powinien być oznaczony kolorem żółtym.

mieszkańców i oddziaływania ich języka na ówczesną polszczyznę³. W kolejnym podrozdziale Autor omówił – głównie na podstawie testamentów – kwestię wyznaniową, wzbogacając narrację zestawieniem (s. 176–178) oraz egzemplifikacjami z poszczególnych testamentów dotyczących obrządku pochówku czy zapisów na rzecz przytułków, kościołów bądź zborów. Podrozdział dotyczący sytuacji materialnej mieszkańców jest poniekąd uzupełnieniem informacji, które wyklarowały się w poprzednich rozdziałach, tj. wysokość płaconych podatków, posiadane nieruchomości, pośmiertne inwentarze oraz kwoty zapisywane w testamentach dawały obraz ogólnego stanu zamożności. Tu Autor dodatkowo przytoczył m.in. listy dłużników, ceny nieruchomości, obecność (bądź brak) ogródka warzywnego, a także jedyny przypadek wysokiej wartości posagu Tatiany Klebowiczówny, o łącznej wartości 2 tys. zł. Podrozdział „Konflikty” jest rozszerzeniem kwestii poruszonych wcześniej przy okazji omówienia sądownictwa i właściwie rozpoczyna go tabela (s. 203–204) ukazująca rodzaje oraz ilość popełnionych czynów zabronionych, stanowiąca jednocześnie punkt odniesienia do przytaczanych w późniejszej narracji przykładów. Te z kolei prowadzą czytelnika w świat siedemnastowiecznych waśni, zatargów i przestępstw. Podrozdział ten pełen jest ciekawych egzemplifikacji, wśród których znalazły się – obok dość powszechnych kradzieży, pobić, napadów, gróźb, niespłacania długów czy zniewag – te dotyczące pomówień m.in. o stosunki z demonem, podważania moralności, cudzołóstwa, nierządu oraz przemocy seksualnej (w stosunku do kobiet i dzieci). Autor zauważa jednak, że wzmiankowane czyny zabronione ukazują w pewnym stopniu mentalność mieszkańców, ale nie są badaniami kompleksowymi, tym samym dają fundament pod przyszłe projekty. Rozdział kończą dwa podrozdziały poświęcone pojedynczym mieszkańcom jurydyki. Jedną z nich była Barbara Zygielówna Ławrynowa Dauborowa, a prezentowana treść, jak określa ją Autor, „stanowi pełen eksperyment myślowy. Podejmuję w nim próbę przedstawienia postaci uchwytej jedynie przez pryzmat konfliktów, w których czasem występowała jako powódka, innym razem – jako pozwana” (s. 222). W podobnej konwencji został przedstawiony bohater ostatniego podrozdziału – Wilhelm Poll, którego życiorys Autor odtwarzał nie tylko na podstawie toczonych spraw sądowych, ale także innych dowodów działalności. Celem tych podrozdziałów było ukazanie możliwości, jakie daje analiza spraw sądowych, testamentów, nominacji itp., które umożliwią stworzenie biografii „zwykłych” ludzi.

Klamrą spinającą narrację (prócz rekapitulacji w zakończeniu) jest rozdział czwarty pt. „Obok miasta czy w mieście”. Wykorzystując materiał porównawczy z miast Korony (Poznań czy Kraków), Autor pochyla się nad zagadnieniem nowożytnego miasta i jego mieszkańców, skupiając się m.in. na kwestiach związanych z obszarem miejskim, jego podziałem, stosowanym prawem, a także rozważa samo pojęcie mieszczaństwa. Konkluduje, że nowożytne miasto powinno się rozpatrywać jako zróżnicowany wewnętrznie konglomerat, gdyż takie spojrzenie pozwala na uchwycenie zachodzących w nich procesów na kilku płaszczyznach, w tym m.in. społecznej i gospodarczej.

³ Autor zna nie tylko klasyczną pracę Konstantinasa Jablonskisa (s. 173), można jednak problem potraktować szerzej, wskazując na wnioski Marii Teresy Lizisowej: „język polski Statutów nie został przejęty z polskich tekstów prawodawczych, lecz wykształcił się na Litwie dla potrzeb tamtejszych realiów prawnych i przy współudziale staroruskiej tradycji oraz miejscowej kultury prawnej społeczeństwa i elity intelektualnej”, *eadem*, *Język Kodeksu Olszewskiego (1550). Z recepcji staropolskiego języka prawnego-sądowego w Wielkim Księstwie Litewskim w szesnastym wieku*, Kraków 2000, s. 142. Warto może wspomnieć, że w wileńskiej Bibliotece Wróblewskich zachowały się niepublikowane wypisy K. Jablonskisa, z kolejnymi litewskimi słowami spotykanymi w języku kancelaryjnym Wielkiego Księstwa.

Cennym uzupełnieniem – skoro w 1944 r. spłonęły w Wilnie materiały do monografii Bogumiła Zwolskiego poświęconej tym kwestiom – są aneksy (s. 245–247), ukazujące głównie ceny niektórych artykułów i surowców oraz płace i wynagrodzenie obowiązujące w latach 70. i 80. XVII w. Pozwalają one w pewnym stopniu na uzmysłowienie czytelnikowi warunków życia ówczesnych mieszkańców. Drobne zastrzeżenie budzi zamieszczenie szczegółowego planu Wilna dopiero w tym miejscu. Przeniesienie go do rozdziału drugiego, a konkretnie podrozdziału dotyczącego topografii jurydyki pomogłoby odbiorcom, którzy nie znają układu przestrzennego litewskiej stolicy.

Niewątpliwie dużym atutem monografii jest jej język. Kamil Frejlich prowadzi narrację w sposób spójny i klarowny, nie jest ona także przeładowana zbędnymi ozdobnikami czy przesadnie akademickim tonem. Czytelnik – zwłaszcza ten znający Wilno – odnosi wrażenie współuczestniczenia w ówczesnej żywej tkance miejskiej. Wszystkie składowe prace: omówienie specyfiki urzędu wraz z powiązanymi z nim elementami, jak zasady jego funkcjonowania oraz biogramami horodniczych, uzupełnione o charakterystykę (zarówno topograficzną, jak i społeczną) jurydyki dają spójny obraz tego wewnątrzmięjskiego organizmu i „Mieszczan Jego Królewskiej Mości horodnictwa wileńskiego”. Jego odtworzenie nie byłoby możliwe bez wykorzystania obszernej bazy źródłowej oraz literatury przedmiotu, w tym także litewskojęzycznej, i skonfrontowania się z ustaleniami innych badaczy. Autor w swej pracy wyszedł poza ramy klasycznie rozumianej historii, sięgając w wielu przypadkach po elementy metodologii z nauk pokrewnych. Nie sposób jest badać miasta i mieszczań bez znajomości mechanizmów socjologicznych. Powróć jeszcze do pytań, które wyartykułował Badacz we wstępie. Uważam, że uzyskał on na nie odpowiedzi, choć momentami niepełne, czego sam jest świadomy.

Zdanie kończące rozważania Autora: „Nowożytna historia Wilna daje więc ciągle możliwości badawcze – sporo ‘białych plam’ wymaga jeszcze zapełnienia” (s. 242) staje się postulatem, zachętą do przyszłych przedsięwzięć. A recenzowana monografia będzie stanowiła dla nich zapewne ważny punkt odniesienia.

Joanna Kunigielis
(Warszawa)

The Tsar, The Empire, and The Nation. Dilemmas of Nationalization in Russia's Western Borderlands, 1905–1915, red. Darius Staliūnas, Yoko Aoshima, Central European University Press, Budapest–New York 2021 (Historical Studies in Eastern Europe and Eurasia, t. 5), ss. 408, ISBN 978-963-386-365-7 (hardback), ISBN 978-963-386-364-0 (pdf)

Recenzowana książka, wydana po angielsku nakładem Central European University Press w 2021 r., jest pokłosiem konferencji „Protecting the Empire. Imperial Government and Russian Nationalist Alliance in the Western Borderlands during the Late Imperial Period”, która odbyła się w Tokio w lutym 2018 r. pod auspicjami Litewskiej Rady Naukowej, Japońskiego Towarzystwa Promocji Nauki, Instytutu Historii Litwy, Podyplomowej Szkoły Humanistyczno-Socjologicznej (Uniwersytet Tokijski) i Centrum Badawczego Promocji Studiów Międzykulturowych (Uniwersytet w Kobe). Głównymi jej organizatorami byli: Darius Staliūnas – litewski historyk na stałe związany z Instytutem Historii Litwy i Uniwersytetem Wileńskim oraz Yoko Aoshima – japońska badaczka ze Słowiańsko-Euroazjatyckiego Centrum Badań Uniwersytetu w Hokkaido. Wymienieni są również redaktorami omawianej pracy. Autorzy tekstów opublikowanych w zbiorze są uznanymi badaczami w swoich dziedzinach historii. W większości pochodzą z Litwy i Japonii, choć nie zabrakło również uczonych z innych krajów.

Na podstawie programu konferencji zauważyć można, że niektóre z prezentowanych na niej referatów nie znalazły się w publikacji. Próżno więc szukać tekstów na temat świadomości narodowej Estończyków na początku XX w., kwestii narodowych w Zgromadzeniu Narodowym podczas rewolucji 1917 r. czy pamięci o powstaniu styczniowym i wynikłych z jego klęski reperkusji na początku XX w.¹ Natomiast pojawił się artykuł na temat tzw. sprawy rosyjskiej w Królestwie Polskim doby panowania w nim Romanowów.

Książka podzielona jest na cztery główne bloki tematyczne. Pierwszy z nich obejmuje zmiany podejścia do polityki narodowościowej prowadzonej przez rządzących w Imperium. Badacze analizują ten problem na przykładach niekonsekwencji, którą Petersburg wykazywał względem ukraińskiego ruchu narodowego na zachodniej Ukrainie, wyzwań, w jakimi musieli się mierzyć rządzący Krajem Północno-Zachodnim w latach 1905–1915 w polityce wobec mniejszości narodowych. W końcu poszukują odpowiedzi na pytanie, czym była tzw. sprawa rosyjska na przykładzie rosyjskich narodowców i imperialnych urzędników/biurokratów w Królestwie Polskim. Kolejna część tekstów dotyczy religii i bada zmiany, jakie zaszły po ukazie tolerancyjnym z 1905 r. na Litwie, Chełmszczyźnie i Podlasiu. Autorzy starają się przedstawić procesy odchodzenia od prawosławia, konwersji na katolicyzm i spowodowanej tym kontrakcji cerkwi, przy równoczesnym ukazaniu zależności pomiędzy wiarą a formacją narodową na tych terenach.

W kolejnej osi problematycznej autorzy skupiają się na zmianach, jakie zaszły w systemie edukacji carskiej Rosji w ostatnich latach jej istnienia. Starają się uchwycić przesunięcia w podejściu rządzących do języków miejscowych na zachodnich rubieżach Imperium – w Królestwie Polskim i prowincjach bałtyckich. Trzeci blok tekstów poświęcony jest poszukiwaniom odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie dla rządów rosyjskich na zachodnich terenach Imperium miał system nauczania. Badacze skupiają się kolejno na edukacji w językach ojczystych w zachodnich rejonach państwa Romanowów na początku XX w., polityce wokół powszechnej

¹ http://web.cla.kobe-u.ac.jp/group/promis/_src/30275/2018021011_Protecting%20the%20Empire.pdf (dostęp: 28 II 2022).

edukacji na prawobrzeżnej Ukrainie w okresie późnego caratu, znaczeniu rosyjskiej polityki edukacyjnej i początków masowej państwowej turystyki, w końcu – sposobach kształtowania lojalności za sprawą szkolnictwa w Kraju Północno-Zachodnim w latach 1905–1915.

Ostatni, czwarty blok książki poświęcony jest rosyjskiej prawicy w ostatnich latach przed wybuchem Wielkiej Wojny. Autorzy koncentrują się na rosyjskich partiach prawego skrzydła sceny politycznej, które istniały w Wilnie, a szerzej – na ziemiach Kraju Północno-Zachodniego, w latach 1905–1915, pochylają się nad wizjami obrony rosyjskości w prowincjach bałtyckich po rewolucji 1905 r., by w końcu poszukać odpowiedzi na pytanie: dlaczego przed rozpoczęciem I wojny światowej w państwie Romanowów nie powstała żydowska partia prawicowa.

Recenzowany tom w zamierzeniach badaczy ma odpowiedzieć na pytanie: czy późne Imperium Rosyjskie przystąpiło do I wojny światowej jako państwo wieloetniczne z licznymi przestarzałymi mechanizmami, zarządzane przez elity, które rekrutowały się z różnych narodów żyjących pod panowaniem Romanowów, czy też jako państwo rosyjskie zarządzane głównie przez etnicznych Rosjan? Autorzy zbiorowo argumentują, że niespójność stanowi główną cechę polityki narodowościowej/nacjonalistycznej w późnym okresie imperialnym.

Ogólnym wnioskiem, jaki płynie z lektury tekstów pomieszczonych w zbiorze jest stwierdzenie, że chociaż rząd imperialny tak naprawdę nie utożsamiał się z popularnym rosyjskim nacjonalizmem, to czasami wdrażał politykę promowaną przez jego zwolenników. Książka przedstawia to, co czasem umyka badaczom zajmującym się długim XIX w., a w szczególności tym, którzy pochylają się nad zagadnieniami rządów rosyjskich względem podbitych narodów zamieszkujących ziemie włączone w obręb Imperium Romanowów w wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej. Autorzy poszczególnych tekstów ukazują, że choć rządy carskie względem Polaków, Litwinów, Łotyszy, Ukraińców i Białorusinów obliczone były na ich rusyfikację, to nie zawsze była ona prowadzona w taki sposób, jak planowano. Badacze uwypuklają rolę miejscowych urzędników wysokiego i niskiego szczebla, którzy w swojej polityce względem mniejszości wybierali lojalizm państwowy, a nie nacjonalizm narodowy.

Jedną z zalet omawianej książki jest fakt opublikowania jej w języku angielskim i łatwy, a do tego bezpłatny dostęp do jej treści na stronie library.oapen.org. Jest to o tyle ważne, że zważywszy na zespół autorów tekstów, czytelnik jest w stanie poznać dorobek m.in. litewskiej i japońskiej szkoły historycznej. Po wtóre, badacze posługują się prostym językiem, lektura nie jest uciążliwa. Autorzy nie używają nadmiernie wyszukanych słów i idiomów, lecz w przystępny dla czytelnika sposób przekazują zainteresowanym swój punkt widzenia na omawiany przez siebie problem.

Autorzy zajmujący się różnymi dziedzinami historii, dla których jednak wspólnym mianownikiem jest historia Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej w długim XIX w., w jednym miejscu zebrali najnowsze osiągnięcia innych, pokrewnych pod względem zainteresowań naukowych badaczy. Sprawia to, że omawiana pozycja poza uzupełnieniem braków w dzisiejszej nauce – spojrzenia na nowo na carski system rządów nad zachodnimi terenami Imperium – jest też wymienitą bazą dla innych pracowników nauki.

Recenzowany tom ukazuje też problemy typowe dla wydawnictw pokonferencyjnych. Praca składa się z dwunastu artykułów pogrupowanych w cztery części, naturalne jest więc, że zakres tematyczny takiego zbioru musi być szeroki. Jednak pojawia się pytanie, czy nie znalazłoby się jeszcze miejsce dla innych aspektów wzmiankowanej przez autorów niespójności. Dlatego też niniejszą propozycję należy traktować jako wstęp do dalszych badań.

Możliwe zastrzeżenia, nie pod względem faktograficznym, lecz wydawniczym, budzi tekst Yoko Aoshimy pt. *Native Language Education in the Western Border Regions around 1905*, traktujący o edukacji w zakresie języka ojczystego w zachodnich regionach granicznych

ok. 1905 r. na przykładzie Królestwa Polskiego i bałtyckich prowincji Imperium Rosyjskiego. Autorka z niewiadomych przyczyn nie stosuje ujednoliconej formy zapisów miejscowości w Królestwie Polskim, raz opisuje dyrektora w dystrykcie szkolnym „Łódź”, by nieco dalej podać informację na temat towarzystwa naukowego w Dombrova Gornaia w prowincji Petrokov (s. 197). W tekstach innych autorów, którzy podobnie jak Yoko Aoshima podawali rosyjskie, transkrybowane na angielski nazwy miejscowości, w nawiasie wpisywano też nazwy miejscowe. W pracy Jolity Mulevičiūtė na temat państwowej turystyki obok Kovna w nawiasie widnieje Kaunas, Jurburga – Jurbarkas, a Nemana – Nemunas (s. 251–252). Kłóci się to z pierwszym przypisem, w którym autorzy zaznaczają, że w całej książce używane są oficjalne dziewiętnastowieczne nazwy miejscowości (np. Vil’na, a nie Vilnius) i tylko w tych przypadkach, w których nazwy te różnią się radykalnie od obecnych, obecna nazwa ujęta jest w nawiasy (*Introduction*, s. 1, przyp. 1).

Zaletą zbioru jest ukazanie carskich rządów w zachodnich prowincjach Cesarstwa w nowym świetle. Podstawowym zaś mankamentem jest nadmierne rozstrzelenie tematyki i stosowanych metod badawczych. Jednak bezsprzecznie prezentowany tom stanowić może punkt wyjścia dla kompleksowych badań systemu rządów carskich w zachodnich prowincjach Imperium Romanowów.

Paweł Lesisz
(Warszawa)